

ЮРИЙ ПАХОМОВ



КОМПОНИСТ

РАССКАЗ

Осенью, в канун страшного сорок седьмого, мыкались мы с матерью по чужим углам. Жили сначала у знакомых неподалеку от вокзала, потом переехали в окраинный район Дубинку, в частный дом — скрипела по ночам, терлась об оконное стекло лоза, и все вокруг пахло виноградом “изабелла”. Сестра хозяйки дома, парализованная старуха, целый день сидела в коляске, следила за мной выпученными глазами и что-то мычала — оттуда тоже пришлось съехать, уж не помню почему. Пригрела нас Лина Григорьевна, смуглая, похожая на цыганку женщина — с ней мать дружила потом до самой смерти, а белая, утонувшая в зарослях жасмина хата на всю жизнь для меня стала символом спасительного прибежища.

Навалилась сырая, стывшая осень, матери далеко было ездить на работу, трамваи ходили кое-как, пришлось искать что-то поближе — так вот мы и оказались в закутке у Сазонихи, одинокой бабки, имевшей “квартиру” в одноэтажном кирпичном бараке, что стоял в пяти минутах ходьбы от стеклотарного завода, где мать избрали секретарем парткома.

Квартирка была крохотная, с полутемной, в одно окно, горницей, проходной кухонькой, где стоял топчан Сазонихи, и холодными сенями, кото-

---

*ПАХОМОВ Юрий Николаевич родился в 1936 г. в Горьком в семье военнослужащих. Закончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознамённую академию им. С. М. Кирова в Ленинграде. Служил на подводных лодках и кораблях Черноморского и Северного флотов. Полковник медицинской службы, был главным эпидемиологом Военно-морского флота, сейчас в отставке. Занимаясь литературным творчеством, стал лауреатом всероссийских и международных литературных премий. Член Союза писателей России с 1979 года. Живёт в Москве.*

рые старуха называла пышно — “террас”. Дом-барак торцом упирался в высокий серый забор, за которым громыхали, звякали буферами составы, тонко вскрикивал по ночам маневровый паровозик “кукушка”.

Всю зиму я проболел. Сазониha, сердито гремя кастрюлями, бормотала: “Эко, малец, истаял весь”. И совала мне то моченое яблоко, то соленый, в колких пупырышках огурец. А зима стояла тяжелая, светало поздно, солнце медленно протаивало сквозь оконную наледь, по дворам ходили нищие, люди замерзали на улицах.

Родичи привезли из станицы два мешка кукурузы, старуха пекла кукурузные лепешки, тем нас и спасла. И еще мать приносила с завода тыкву, запеченную у стекловарной печи — розовая, сладкая тыквенная мякоть так и осталась для меня особым, ни с чем не сравнимым лакомством.

“Хрум-хрум” — похрустывала машинка, на которой Сазониha молола кукурузу, “хрум-хрум” — отдавалось за окном, словно и там, в предвечерней сини, кто-то вращал рукоятку самодельной мельницы. Только к весне, к концу февраля, понял я происхождение этого однообразного, тягостного звука.

Вялый, укутанный в ватник и пуховой платок, вытолкнут я был Сазонихой в ветреный февральский простор: “Неча в хате-то преть, ступай воздухом подыши”. Снег осел, с сосулк капало, серый забор почернел, сад был пуст, на голых ветвях висели янтарные капли. Там-то, в саду, услышал я знакомый звук, проковылял к калитке, глянул, шурясь, пытаюсь понять, откуда хрумканье, и увидел нечто серое, кольшущееся и не сразу понял, что это строй. По раскисшей, в желтом крошewe дороге шли пленные немцы, желтолицые, оборванные, кто в чем, шли, стараясь держаться прямо, и изпод сапог летели комья грязи. “Хрум-хрум, хрум-хрум”.

Я смотрел вслед удаляющемуся строю и не мог поверить, что это те самые немцы, которые убили моего отца, заставили нас с матерью бежать через всю страну, скитаться по углам и кто, наконец, сделал мою жизнь такой непомерно длинной — столько уже в ней было воспоминаний. Вялый, закутанный в платок, я стоял у калитки, и у меня было ощущение, что меня обманули, а вечером снова подскочила температура, я метался в жару, комната была заполнена жидким, как подсолнечное масло, светом, а за стеной все ближе и ближе слышалось страшное: “Хрум-хрум”. А рядом голос Сазонихи: “Молись, девка, видать, к утру отойдет”.

Но я не умер. На третий день жар стал спадать, Сазониha натирала меня собачьим салом, силком заставляла есть мед — где только его раздобыла? — и пить какие-то горькие травяные отвары, от которых мне делалось необыкновенно легко, я как бы парил в комнате у самого потолка и, приходя в себя среди ночи, видел оттуда, сверху, замершую перед иконой старуху и рыдающую у моей койки мать. Наверное, я и в самом деле был близок к тому, чтобы “отойти”.

Потом я стал быстро поправляться, наступила весна, и я пошел в школу. Сазониha уехала в станицу помочь родичам управиться по хозяйству и добыть продуктов. Как я сейчас ни пытаюсь вспомнить лицо этой старухи, спасшей мне жизнь, и не могу — что-то морщинистое, темное, угрюмое. Была она низкоросла, худа, сгорбленна, а ходила тяжело, стуча подошвами бурок, как копытами. Мать потом рассказывала: мужа Сазонихи, казака, посадили еще в начале тридцатых, а когда на Кубань пришли немцы, сына взяли в полицаи, был он, говорят, зверь зверем, старуха прокляла его, подалась в город к сестре, от покойной сестры и досталась ей квартирка, где прожили мы голодную зиму сорок седьмого. Мое воскресение Сазониha считала чудом: “Простил меня Господь, простил за мово-то душегуба, антихриста проклятого”.

В конце марта стало уже совсем тепло. Чтобы я не болтался после школы на улице, мать брала меня с собой на завод. Мне там нравилось. В огромном сумрачном цехе ревели вентиляторы, у стекловарной печи, по деревянным настилам сновали люди, малиновые блики плясали на законченных стеклах. Я пристраивался в стороне и наблюдал за работой стеклодувов. Стеклодув совал в огнедышащий зев железную палку, выхватывал оплывший красный ком, похожий на конфетку-тянучку, и из него рождалось то стекло

для керосиновой лампы, то графин, а то стеклянный чертик. Рядом на шипящих, постреливающих паром машинах, женщины штамповали трехлитровые баллоны для овощных консервов. Расплавленное стекло заливалось вручную, подсобница должна была успеть отсечь вязкую огненную массу. Баллон выхватывался из формы шприцами, ставился на посыпанную песком площадку, он быстро темнел, покрывался серым налетом и постепенно становился прозрачным. Один из стеклодувов, старик Бурмистров, сворачивал толстую самокрутку, закуривал и, подмигнув мне, извлекал из широченных штанов сверток. “А ну глянь, что там моя ведьма сунула?” В свертке я находил то шмат круто посоленного сала, то копченого рыба, а то несколько мелких, в крапинку яиц. Жена его действительно походила на ведьму: седая, растрепанная, в черной, обвисшей до земли юбке. Когда стеклодув возвращался домой пьяным, ведьма кричала на всю улицу: “Шоб ты сказився, заразы кусок!” “Кусок заразы” представлялся мне в виде студня, и всякий раз, разворачивая сверток, я со страхом ожидал, что увижу нечто подобное.

Однажды на заводской двор, урча, вкатил обшарпанный “студебеккер”, из его кузова не спеша выbralось несколько пленных немцев. Они принялись нагружать вагонетки песком. Когда вагонетка заполнялась, пленные по команде старшего отгоняли ее к воротам цеха. Закончив работу, немцы побросали в кузов грузовика лопаты, забрались сами и уехали, а один из них, худой, низкорослый, в очках, остался. Он стоял, зябко поеживаясь, задрав остроносое лицо к небу. Я подошел ближе и спрятался за кучу песка. На немце был серый, вылинявший мундир с белыми полукружиями пота у подмышек, ноги жердями торчали из широких голенищ. Он был рыж, светлые, почти прозрачные глаза что-то отыскивали в небе, а губы, вытянутые трубочкой, шевелились. Я не сразу понял, что немец насвистывает какую-то мелодию. Он стоял ко мне спиной, и тощие его ноги слегка притоптывали, отбивая ритм. Надо же, свистун! Я пошарил глазами, нашел обломок кирпича и, широко замахнувшись, запустил в ненавистную спину. Немец упал как подкошенный, упал лицом в песок, словно в спину ему угодила пуля. Он лежал, широко разбросав руки, и не двигался. Радость от удачного броска сменилась у меня страхом — может, я убил его? Наконец немец пошевелился, перевернулся на спину, сел, наши глаза встретились, очкарик смахнул с лица песок и заплакал. Я видел, как у него по впалым щекам скатываются слезы, как вздрагивают его худые плечи. Я повернулся и пошел прочь, боясь оглянуться, боясь увидеть эти прозрачные, мокрые от слез глаза.

— Что с тобой? — спросила меня вечером мать.

— Ничего, — ответил я.

На другой день я не пошел на завод. Мать рассказала, что пленные везут из карьера песок, который идет на изготовление стекла, что немцы все доходяги, бабы жалеют, подкармливают их — ничему нас, русских, война не научила.

Появилась первая зелень — редиска, лук, стало уже не так голодно, и хлеба по карточкам прибавили. Мать говорила, что ожидается снижение цен, а скоро и карточки отменяют. Немцы все так же работали на заводе, очкарик, видно, был болен, напарники не брали его с собой в карьер, и он отлеживался на песке. Он уже не насвистывал. Когда возвращался из карьера “студебеккер”, очкарик вставал, брал лопату и начинал нагружать вагонетки. Каждое движение давалось ему с трудом.

Третий день дул норд-ост, с крыши летело кровельное железо, тротуары были усыпаны лепестками отцветающих деревьев, сразу стало холодно. От нечего делать я слонялся по заводскому двору, потом по лестнице забрался на крышу склада. Оттуда видна была товарная станция: железнодорожные составы — зеленые, бурые, серые вагоны, тускло поблескивающие нефтеналивные цистерны, рыжий пустырь, левее — пирамиды похожих на рыбы пузыри баллонов, приготовленных к отгрузке, а еще левее, за деревьями, за разноцветными крышами, открывался вид на заречье с синими горами.

Меня всегда влекла высота, то острое ощущение ужаса, холодка в животе, когда подходишь к самому краю крыши — и внизу открывается бездна. Оттуда, с крыши, я увидел очкарика, он лежал на песке, и фигура его

казалась совсем маленькой и жалкой. Я спустился с крыши, подошел к нему. Немец неожиданно открыл мутно-голубой, увеличенный стеклом очков глаз и тихо сказал:

— Мальшик... Гутн так, мальшик.

Я испуганно отскочил.

Очкарик неуклюже сел, покачал головой:

— О, ньет... Бояться — ньет. Как тебя совут, мальшик?

— Никак! — Я с брезгливостью разглядывал его.

— Никак — плехо. — Немец улыбнулся. — Отшень плехо. Я есть Ганс! — он похлопал себя по груди. — Я есть мюзикант, компонист, сочи-няйт мюзик. Ферштейн?

Я усмехнулся. Мне показалось невероятным, что этот тщедушный человек может сочинять музыку.

— Вы не верейт? Я и сам не верейт. — Немец звонко рассмеялся. — Вот, смотреть. — Он встал, отбросил полы длинноватого ему мундира, взмахнул руками, словно собирался дирижировать оркестром — дирижеров я видел в киножурналах, что показывали перед тем, как начать крутить фильмы, — его светлые брови взлетели вверх, синие, почти черные губы сложились в трубочку, очкарик на секунду замер, незряче глядя перед собой, затем дрожащим голосом повел мелодию. Я с изумлением глядел на него. Еще несколько минут назад немец лежал без сил на песке, я даже подумал, что он умер, а сейчас он преобразился, на скулах проступили розовые пятна, глаза блестели. Я видел, как песок струйками затекает в широкие голенища сапог, но он ничего не замечал, продолжая дирижировать оркестром. Я сидел ошеломленный. Ганс вдруг покачнулся, тяжело осел на песок и закашлялся. Кашлял он долго, с надрывом.

На другой день дежурил незнакомый вахтер, и на территорию завода мне пришлось пробираться через щель в заборе. Ганс, нахохлившись, сидел на перевернутом ящике и ел хлеб. Раскрошил маленький кусочек и посыпал воробьям. Увидев меня, он поздоровался и спросил, указывая на воробышек, снующих у его ног:

— Как называйт... Как называйт по-рюски... Э-э?

— Воробей.

— Я, я... воробьей. — Ганс выпятил нижнюю губу, и чирикнул. Получилось здорово. Он и сам походил на воробья: серенький, остроносый.

Я засмеялся. Немец покрутил головой, ткнул пальцем в ворон, круживших у заводской трубы, громко каркнул. И тут же, забыв обо мне, что-то пропел, меняя звук так и эдак. Прислушался и стал что-то быстро рисовать палочкой на песке. А ветер дул, гремел кровельным железом, в небо летел всякий мусор, а Ганс все чертил и чертил на песке знаки, похожие на птичьи следы. Потом, словно очнувшись, смахнул их ногой и, грустно посмотрев на меня, пояснил:

— Нотен... Я, я.

Как, почему почувствовал я своим обугленным войной сердцем, что Ганс занят чем-то очень и очень важным, и это не должно исчезнуть, как следы на песке? Я никогда не видел, как пишут музыку, но именно этот жалкий, больной немец заставил меня поверить, что существует другой мир, мир, где нет и не может быть войн, нет барахолок, нет унылых очередей за хлебом, вонючих, кишащих шпаной вокзалов, где люди спят прямо на каменном полу, и мухи ползают по их лицам. Я не мог еще изложить словами свое впечатление, но потаенное чувство подсказало мне, как следует поступить. У меня было припасено несколько тетрадок в клеточку — целое богатство, не помню, на что матери удалось их выменять на рынке, знаю только, что стоили эти тетради дорого. И вот я тайком взял одну тетрадь и отнес Гансу. Сам эпизод выпал из памяти, не уверен даже, поблагодарил ли он меня, а вот глаза Ганса запомнились, внезапно потемневшие, наполненные теплотой и состраданием. Такие глаза не могли быть у человека, убившего моего отца.

Теперь я бывал на заводе каждый день. Изредка мне удавалось принести Гансу кукурузную лепешку или немного хлеба — жить стало полегче; он рассеянно благодарил, жадно ел, заглатывая большие куски, кадык дергался

на тощей шее — чувствовалось, что он далеко отсюда, от грязного заводского двора, куч белого речного песка, ржавых вагонеток. Иногда, задумавшись, он вздрагивал, точно кто ударял его в бок, торопливо доставал из кармана мундира подаренную мной тетрадку, огрызок карандаша и, присев на перевернутый ящик, начинал писать, как тогда на песке. Ганс по-прежнему кашлял, в груди у него хрипело и посвистывало. По-русски он понимал почти все. “Нужно лечиться, в больницу”, — сказал я ему. Ганс покачал головой: “О, нет. Арбайтен, арбайтен...” — и показал на груды песка и вагонетки.

Однажды Ганс спросил меня:

— Твой фатер... отец жив?

— Нет. Погиб на фронте.

— О, майн гот! — немец закрыл лицо руками и покачал головой.

Ночью меня опять давили кошмары, что-то смутное, угрожающее, а потом вдруг открылось ровное черное поле. “Это война, — сказал чей-то голос, — а сейчас мы будем передавать музыку”. Но я услышал не музыку. А знакомое: “Хрум-хрум!” По полю двигалось, изгибалось что-то серое, круглое, похожее на гусеницу — много ног, много глаз, и все они глядели на меня. Гусеница росла, увеличивалась в размерах, заполняла все вокруг, стало трудно дышать...

Старик Бурмистров как-то спросил меня:

— Ты что с немцем-то валандаешься?

— Он не немец.

— А кто же?

— Он музыкант. Музыку сочиняет...

— Много они музыки насочиняли. Музыкант-то твой, видать, не жилец. Ишь, как кашляет. В больницу его нужно.

— Он не хочет.

— И то... В больнице скорее коньки отбросишь. На-ко, снеси ему, пусть поест. — Бурмистров протянул мне кусок хлеба с ломтем сала. — Сало-то, оно от кашля помогает.

Пленных на работу обычно привозили на заводском грузовике без охраны. Иногда в кабине “студебеккера” рядом с водителем сидел маленький, стриженный наголо солдатик с автоматом. Случалось, что немцев сопровождал и сам начальник охраны лейтенант Гуц. Он был плотен, коротконог, с непомерно большой головой, на которой фуражка с синим околышем всегда сидела прямо. Обычно лейтенант стоял во дворе, придирчиво наблюдая, как военнопленные работают. Его не любили и побаивались. Кто-то дал Гуцу странную кличку: “Тетя-дядя”. Работницы посмеивались: “Ишь, Тетя-дядя идет, буркалы, как у борова”, “Да в ём, бабы, от мужика только одне штаны!”

Я старался не попадаться Гуцу на глаза. При его появлении военнопленные, отправляясь в карьер за песком, брали с собой и Ганса. Тот был слаб, его приходилось подсаживать в кузов. Однажды, когда Ганс уже перебросил тощую ногу через борт, из-под мундира вывалилась мятая тетрадка. Лейтенант Гуц поднял ее, развернул и стал с удивлением разглядывать.

Ганс с мольбой протянул к нему руки:

— Господин офицер. Это есть мой хефт, я сочинял мюзик.

Тетя-дядя свирепо глянул на него:

— Музыку сочинил? Ах, мать твою так! Ото ж, паскуды, кормять их, от народа отрывають... А ну давай, нечего филонить!

“Стедебеккер” рывком взял с места. Гуц, тужась, краснея лицом, разорвал тетрадку на мелкие кусочки и долго топтал их сапогами.

Прошло два дня. Я не был на заводе. Из станицы вернулась Сазониха, привезла мешок фасоли, кукурузу, свиной смалец, принялась за уборку. Я таскал воду. Часов в десять утра, прихватив кусок хлеба со смальцем, выскочил во двор. Было душно, гудели пчелы, ранние черешни уже стали розоветь. Я хотел немного хлеба оставить Гансу, но увлекся и не заметил, как съел. Уже на заводской проходной почувствовал, что что-то неладно. У вахтерши было испуганное красное лицо, с ней разговаривал незнакомый военный. До обеденного перерыва было еще два часа, но во дворе толпились ра-

бочие. У пустых вагонеток утрюмо, отдельной группой стояли пленные немцы. Около них прохаживался, скрипя сапогами, лейтенант Гуц. Увидев меня, он сердито заорал:

— Ну-ка ступай отседа, нечего здесь шастать! И вы расходитесь, граждане.

Рабочие, не обратив на него внимания, продолжали негромко переговариваться:

— А што случилось-то?

— Та кто их знае? Хриц шо ли убег?

— Не убег. В нужнике удавился.

— Тю! Чего брехать зря?

— Говорят тебе. Бурмистров пойшов до витру, а там, в нужнике, немец висит. На помочах удавился.

— Иди ты!

— Ну? Хворый был. Тощей такой, в очках. Кашлял все.

— Отчего же он себя порешил?

— Тосковал, видать. Человек все же.

— Нашел, кого жалеть, они нас не очень-то жалели.

А во двор тем временем, пискляво гуднув, въезжал автобус “скорой помощи”. На столбе что-то заполошно бубнил репродуктор. Под ноги мне попался клочок бумаги. Я поднял его — это был разорванный лист из тетради в клеточку.